

ПЁТР ТКАЧЕНКО

ПОСЛЕ НЕИСТОВОГО ВИССАРИОНА

*Оценка деятельности Белинского
и его соратников ещё впереди.*

Александр Блок

1

Двухсотлетие литературного критика и публициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848) — дата, безусловно, знаменательная. И она должна быть отмечена в согласии с той действительной ролью, которую он сыграл в общественной мысли своего и последующего времени, в литературе, в нашей российской истории и судьбе. Разумеется, насколько это вообще возможно в нынешнем литературном *безвременьи*. Ведь и само это наше литературное *безвременье*, в конечном счёте, связано с бурной деятельностью В. Белинского, когда уже и критики как таковой нет. Точнее, она пребывает, по справедливому замечанию Анатолия Салуцкого, в “обзорно-рекламном состоянии”, и в самой литературе “дефолт продолжается” (“День литературы”, № 4, 2010). Надеюсь, это очевидное и печальное положение оспаривать никто не станет. Как и не станет оспаривать очевидную связь его с деятельностью В. Белинского и особенно последователей его, исполненных, разумеется, самых благородных намерений и устремлений.

Роль же В. Белинского в общественной мысли и в литературе, в силу целого ряда обстоятельств как его времени, так и в последующем, не такая простая и не такая очевидная, как это всё ещё принято считать. Ну, хотя бы потому, что после неистового Виссариона прошло довольно длительное время с драматическими событиями в истории России, особенно в жестоком революционном XX веке, к которым имели самое прямое отношение мировоззрение и деятельность критика, точнее было бы сказать, публициста и идеолога. Ведь те идеи, которые он проповедовал, особенно в поздний период своей жизни, после поворота к “социальности”, а точнее — к *революционному* сознанию, получив полное развитие во времени, обнажили свою истинность или ложность, неизбежно обернулись теми или иными жизненными положениями и событиями, мировоззренческие истоки которых мы можем теперь оценить. То есть речь идёт об исповедуемых им идеях. А идеи он, как известно, ставил выше и литературы, и самого человека. Впрочем, это было общее поведение, как считалось тогда, *передовой* общественной революционно-демократической мысли, во всей полноте проявившееся в последователях критика.

Говоря же о всё ещё неочевидной роли В. Белинского в общественной мысли и в литературе, мы нисколько не сомневаемся в его благородстве, в его добрых намерениях, в искреннем желании блага народу. Наконец – в талантливости. Это само собой разумеющееся для личности такого масштаба и темперамента. Нас более занимает сам характер идей, им неистово проповедуемых, и то, какое значение имели эти идеи в нашей многотрудной истории в дальнейшем – вплоть до нынешнего времени. Собственно, это главным образом, а не сам по себе юбилей критика понуждает нас обратиться к его личности, так как его истинное значение в общественной мысли всё ещё остаётся недостаточно уяснённым не только общественным сознанием, но даже в литературной и научной среде. А потому размышления наши не о биографии критика (это – удел биографов), даже не о публицистике его (об этом уже достаточно написано), а об истории идей того времени, их драматическом столкновении, основным участником которого оказался В. Белинский, а также о поразительном продолжении этих идей во времени.

История же идей имеет иную природу и особенность, чем, скажем, история событий.

О том же, что значение В. Белинского всё ещё остаётся недостаточно постигнутым, свидетельствует и то, как намерены теперь отметить его юбилей, о чём уже заявлено прилюдно. Итак, что считается основным в связи с юбилеем критика? Оказывается, таким считается “увековечение” его памяти. Дело, как понятно, нужное, но далеко не главное, ибо при этом уходят из обсуждения духовно-мировоззренческая, философская, метафизическая составляющие и остаются лишь биографическая и краеведческая проблематика, для литературы далеко не основные.

Ирина Монахова, к примеру, в полном согласии с тем обликом В. Белинского, который сформировался во второй половине XIX века и особенно старательно сохранялся в советский период истории, так и пишет: “Приближающийся юбилей заставляет задуматься о том, что сделано для увековечения памяти великого критика” (“Литературная газета”, № 10, 2010). Конечно, если иметь в виду юбилей и ничего более, то Ирина Монахова, безусловно, права. Но мы не имеем права на такой формальный, а в нынешнем литературном безвременьи – необязательный подход.

Разумеется, надо “обратить внимание на состояние музея, привести его в должный вид”, установить мемориальные доски и т. д. Но был ли ещё кто-либо из критиков и публицистов более “увековечен”, чем В. Белинский? Нет, конечно. Семьдесят лет назад создана музей-усадьба, ставшая одной из основных достопримечательностей Пензенской области. С 1948 года его родной город Чембар переименован в Белинский. В советский период истории В. Белинский становится непререкаемым авторитетом. И что очень важно – единственным, точнее – лишь с его последователями по революционно-демократическим воззрениям, выродившимся, по сути, в вульгарный социологизм.

Это уже потом, лишь в семидесятые – восьмидесятые годы советского периода истории начали выходить труды его современников. И не собраниями сочинений, а отдельными сборниками. Это подправляло и уточняло общую картину литературной и в целом культурной жизни и всё же не могло создать истинного представления о литературной критике и общественной мысли той поры. А значит, и не могло создать истинного представления о сути той ожесточённой борьбы, которая началась с В. Белинского. Ведь его революционно-демократические воззрения, как и его последователей, были объявлены как безусловно “передовые” и “прогрессивные”. Все же остальные, – как “консервативные” и “реакционные”.

Как видим, с “увековечением” памяти великого критика дела обстоят не столь уж плохо. Но нельзя ведь не заметить, что это “увековечение” писателей носило и всё ещё носит у нас какой-то странный характер. Такого “увековечения” так и не удостоился почему-то до сих пор Н. Гоголь. Не потому ли, что в силу обстоятельств оказался оппонентом В. Белинского, а по сути, пред кончиной критика им довольно демагогически обруган? В Москве ведь так и нет по существу настоящего музея великого писателя... И это не является каким-то упущением, что ли, но принципиальной позицией “общественного мнения”, полностью выходящей из идеологической ситуации, как прошлой, так и нынешней.

И потом, мы ведь должны помнить всё-таки о том, что в советский период истории В. Белинский был возведён на уровень эталона критика, “канонизирован” не за свою собственно литературно-критическую деятельность, а за публицистическую и идеологическую. То есть за свои революционно-демократические воззрения, так вписавшиеся в официальную идеологию. Причём продолжалось это до самого последнего времени, до конца советского периода истории, когда было уже совершенно ясно, что “революционные ценности” в идеологии никак не соответствуют реальному состоянию общества, пережившего реставрацию, вернувшегося к народной традиции в литературе и культуре в целом, а способны разве что спровоцировать новую, очередную революцию в стране. К примеру, даже специализированный филологический журнал “Русская речь” к 170-летию В. Белинского представлял его не как критика, а как революционного демократа: “Великий русский революционер-демократ В. Г. Белинский (1811–1848) занимает почётное место в истории отечественной культуры как основоположник передовой русской критики” (№ 3, 1981).

Или, к примеру, сборник “Публицисты “Современника”, издававшийся для юношества (М., “Детская литература”, 1985), также представлял революционную мысль как единственно “передовую”: “В настоящем сборнике публикуются произведения представителей демократической и прежде всего революционно-демократической публицистики, в которых нашли отражение важные вопросы, которыми жило передовое русское общество середины XIX века”. Заметим, кстати, не то, чем жил народ, а лишь “передовое общество”. Тут, как видим, из образованной части людей выделяется лишь “передовое русское общество”. И это называется “живым голосом эпохи”. Других живых голосов, надо полагать, в обществе не было, хотя по прошествии времени окажется, что это были как раз “голоса” менее всего живые, не связанные с народной культурной и литературной традицией. То есть, если заражен человек революционным сознанием, он, так сказать, автоматически переходит в разряд “передового русского общества”. А если занят традиционной культурой, самосознанием русского народа, остаётся “консерватором” и даже “реакционером”. И такое положение было господствующим не только во второй половине XIX века, но сохранялось и удерживалось во весь советский период истории с его “революционными ценностями” в идеологии, хотя что это такое, нам убедительного и внятного определения встречать не приходилось... Конечно, такое положение вполне объяснимо. Ведь революция в последующем оказалась “национализированной”.

Но были ведь и тогда иные воззрения – более сложные, более драматические и более приближённые к народному самосознанию. Ф. Достоевский, как известно, рано соприкоснувшийся с этими “передовыми” идеями грядущего “обновления мира” и нашедший в себе силы отрешиться от них, писал потом о них в “Дневнике писателя” не иначе как о “мечтательном бреде” и болезни: “Я уже в 46 году был посвящён во всю правду этого грядущего “обновления мира” и во всю святость будущего коммунистического общества ещё Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самих оснований (христианских) современного общества, о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству как к тормозу во “всеобщем развитии” и проч. и проч. – всё это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае, тема казалась величавою и стоящей далеко выше уровня тогдашних господствующих понятий – а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, – те из нас тогда ещё не знали причин болезни своей, а потому и не могли ещё с ней бороться”.

Причину этой болезни Ф. Достоевский и постиг в романе “Бесы”. В этом же воспоминании писателя примечательно то, что в тайну идей грядущего “обновления мира” он посвящается не петрашевцами даже, но именно В. Белинским.

Да и не только Ф. Достоевским, но и многими современниками его были точно определены природа этой болезни и натура критика.

Скажем, А. Герценом: “Тип этой породы – Робеспьер. Человек для них – ничего, убеждения – всё”.

Ну и что с того, что многие выдающиеся литературные творения своего времени великий критик не понял, истолковал неточно?.. В отличие, кстати, от многих своих современников. Даже А. Пушкина он не вполне понял, провозглашая, что тот “умер или обмер на время” и ожидая от него неких новых произведений, достойных его пера. И если для Ап. Григорьева (“Пушкин — наше всё”) и Ф. Достоевского А. Пушкин был безусловным мерилем правильного самосознания нашего, то для В. Белинского он таким не был. Но в таком случае — по каким критериям должен оцениваться критик, если не по объяснению творений своего времени? И на каком основании в советский период особенно усмотрена духовно-мировоззренческая преемственность А. Пушкина, Н. Гоголя и В. Белинского? Особенно трудно усмотреть преемственность критика с Н. Гоголем, если помнить о всём драматизме их творческих отношений перед кончиной критика: “Белинский по праву занимает место в одном ряду с Пушкиным и Гоголем как гениальный преобразователь русского литературного языка” (“Русская речь”, № 3, 1981). Столь благостной истройной картины всё-таки не получается...

Впрочем, то, что В. Белинский был не столько литературным критиком, сколько публицистом и идеологом, осознавали ещё наиболее прозорливые его современники. И. А. Гончаров, к примеру, писал: “Этот был не критик, не публицист, не литератор только — а трибун” (“Четыре очерка”, СПб, 1881). Но трибунов и пропагандистов у нас во все времена отыскивалось много, а действительных литераторов, несмотря ни на что, остающихся верными своему призванию и бережно несущих свой крест — мало.

Как видим, И. Гончаров не только не считал В. Белинского великим критиком, но не признавал критиком в точном смысле слова вообще: “Здесь он впадал в тот недостаток, который мешал ему быть вполне беспристрастным критиком. Уравновешивать строго и покойно достоинства и недостатки в талантах — было не в горячей натуре Белинского”.

Это очень важное свидетельство современника В. Белинского, которое было в то время довольно распространённым. А вот в силу каких идеологических, социальных и исторических обстоятельств, а также по причине каких особенностей самих его воззрений он, уже в более поздние времена, стал “канонизирован” как самый великий критик России — этот аспект как-то обходится в нашем литературоведении.

Примечательна и извинительность тона в суждениях о В. Белинском, начиная с его современников, когда он давал слишком уж общие, скоропалительные, а то и неточные оценки явлений литературы своего времени. Это, видимо, можно объяснить тем, что за В. Белинским признавалась личность незаурядная и деятельная. Вместе с тем осознавалось, что характер его дарования не вполне литературно-критический. Вот и всё. Здесь не на кого обижаться, ибо это было не принижением его, а точным определением характера его деятельности, которое уже давно должно присутствовать в нашем общественном сознании, литературе, науке как не подлежащая сомнению данность, как аксиома.

Тут обыкновенно выдвигается такая логика: но ведь зато он будил общественную мысль, и не какую-нибудь, а “передовую” и “прогрессивную”, выдвигал высокие гуманистические идеалы, будил народ... Но мы должны умерить пыл как давних, так и нынешних пропагандистов подобных представлений и задаться неудобными для них вопросами, которые теперь обойти нельзя. А были ли воззрения В. Белинского действительно *передовыми* и *прогрессивными*? Декларативно, безусловно — да. Но нас интересуют не декларации, а метафизическая основа его писаний. Видимо, для объективной оценки их уже наступило время. А были ли таким революционно-демократическим способом достижимы те высокие гуманистические идеалы, которые декларировал В. Белинский? По прошествии столь долгого времени после его кончины мы ведь уже можем спокойно оценить его деятельность. Нельзя не задаться и вопросом: а что с чем боролось как в те, так и в последующие времена? Безусловно, *прогрессивное* с *реакционным*, только мешающим нашему продвижению вперёд? Разумеется, нет. Теперь это видится совсем иначе. Впрочем, как и виделось многим современникам критика. Борьба ведь велась не с консервативностью и косностью, а, в конечном счёте — с народными и, прежде всего, русскими основами жизни. С народным самосознанием. И велась идеологическим путём.

Кроме того, никуда не уйти и от другого вопроса, для всякого литератора главного: а правомерно ли использовать литературу лишь в качестве средства в целях каких бы то ни было — социальных, идеологических, политических, пусть даже самых гуманных? Ведь такие практические, утилитарные цели неизбежно приводят к отрицанию литературы, а значит, и к неразличению духа человеческого и народного. . .

И потом, представлять свой народ “спящим”, которого надо “будить”, приобщать к такому “просвещению”, которое сводится к протесту и бунту, значит не вполне понимать свой народ, а то и презирать его, себя лично к нему как бы и не причисляя. Ведь назвали же последователи В. Белинского себя “лучшими” людьми. . .

Вопросы, в общем-то, риторические. Ответ на них даёт и вся наша последующая история после неистового Виссариона, и история творческих взаимоотношений и разногласий В. Белинского и Н. Гоголя, с которых, собственно, раскол образованной части общества на два противоположных лагеря и ожесточённая борьба начались.

Перед нами ведь вовсе не обывательская история о том, как Виссарион Григорьевич поссорился с Николаем Васильевичем. В истории их полемики, взаимоотношений и разногласий со всей определённой проявилась духовно-мировоззренческий факт огромной важности в судьбе России. Это был такой рубеж в нашей истории, на котором решался вопрос о том, какой тип сознания будет преобладать в обществе — *революционный*, основанный на логически вроде бы верных и даже справедливых, но всё же отвлечённых идеях, или на традиционных, выходящих из веры народа, его культуры, его умственной и нравственной самостоятельности? Или же общество впадёт в соблазн: сложнейшие вопросы человеческого, народного и государственного бытия разрешать наипростейшим, радикальным путём, каким они неразрешимы в принципе. Какой тип сознания оказался, в конце концов, преобладающим, мы теперь уже знаем. Как и знаем то, какие трагические события в истории народа и страны он неизбежно вызвал.

История же разногласий В. Белинского с Н. Гоголем и теперь не является для нас всего лишь давней и бесстрастной страницей в русской литературе и общественной мысли, а всё ещё продолжающейся реальностью. И потому, что в области духовно-мировоззренческой так не бывает, что последующее напрочь отвергает и отменяет предшествующее. И потому, что мы опять пережили новую революцию в России, совершённую, естественно, в иной форме и исход которой не вполне ясен. То есть революционный тип сознания после традиционного в советский период истории стал снова преобладающим, снова реанимирован. Не брать этого в расчёт и рассматривать историю взаимоотношений В. Белинского и Н. Гоголя лишь как историческую страницу, на бытовом уровне, значит впадать в догматизм.

Ставить же теперь, как ни в чём не бывало, вопрос об “увекочении” памяти великого критика как основной и, по сути, единственный, а не вопрос постижения и осмысления его наследия, можно лишь при условии дальнейшей его “канонизации”, как это и было в советский период истории, когда его революционно-демократические воззрения оказались близкими идеологической ситуации той поры, с её “революционными ценностями”, а не народными ценностями и национальными интересами. Тем самым, по сути, предлагается возвращение к прежнему, догматическому восприятию наследия В. Белинского и его единоличного господства в критике как несомненного образца. При этом из истории литературы и общественной мысли выпадали не только многие, не менее талантливые критики, но и на долгие годы определялась посмертная судьба Н. Гоголя и его наследия. Так же, как и Ф. Достоевского.

Не думаю, что это делается теперь сознательно или умышленно. Скорее — по “традиционной” недооценке мыслительной, философской, метафизической стороны нашего бытия, что, конечно, не может быть извинительным.

О степени же фетишированности критика свидетельствует тот факт, что всякий раз, когда заходит речь о нём, непременно предпосылается эпитет — “неистовый”, не особо задумываясь, что это слово значит в русском языке. Между тем, *неистовство* — это несдержанность в чувствах, иступлённость, буйство, безудержная ярость и даже — жестокость. Но тогда почему столь нелицеприятная, даже отрицательная, характеристика навязывалась как безусловно *положительная* и даже в качестве некоего идеала? . .

Обычно это оправдывается тем, что в своей неистовости критик был искренен. Но искренность сама по себе в делах мировоззренческих не является достаточным аргументом. Всё ведь, в конечном счёте, определялось революционным типом сознания, что почиталось безусловно положительным, передовым и прогрессивным.

Никто теперь не собирается вычёркивать В. Белинского из истории русской общественной мысли и литературы, никто не собирается сбрасывать его с “корабля современности”. Не в пример ему самому и особенно его последователям, которые совершали это вполне искренне, безжалостно и жестоко. Но и делать вид, что во все эти долгие времена ничего особенного не произошло, мы не имеем права.

Безусловно, В. Белинский был личностью незаурядной, целеустремлённой, самоотверженной, с поразительной работоспособностью, но и нетерпимой до иступления к иным взглядам, которая и могла-то появиться только в определённое время и в определённых обстоятельствах. Его эволюция от литературной публицистики к идеологии революционных демократов тоже ведь была явлением того времени. Собственно же как литературный критик, по чему и должен он оцениваться, В. Белинский оказывался, как мы уже отметили, довольно неточным в оценках выдающихся литературных явлений своего времени. А потому титло “великого критика” ему не вполне подходит. Великого общественного деятеля, мыслителя и публициста — да, но не собственно литературного критика. Да в этом ведь можно убедиться, сравнивая его оценки явлений литературы с оценками их же Ап. Григорьевым, Валерианом Майковым, Ф. Достоевским. Иначе мы совершаем ничем не оправданную подмену понятий, которая ни к чему хорошему ни на каком поприще привести не может.

Результаты искренней и бурной деятельности В. Белинского не являются уже давно, а тем более теперь, безусловным образцом и каноном для последующих литераторов, ибо переносимые во всей своей неизменности в последующие времена в качестве эталона создают невнятицу в литературной жизни и общественной мысли. Наше дело — честно и объективно определить роль В. Белинского в общественной мысли и литературе, не догматизируя всё им написанное, от чего он порой и сам отрекался, зная за собой натуру увлекающуюся.

Но похоже, что в нашем литературном безвременье, когда литература оказалась бесцеремонно отодвинутой на обочину общественной жизни, многие литераторы не вполне представляют, как теперь быть с В. Белинским. А потому вместо постижения его наследия, теперь уже с учётом наследия и его современников, предлагают внешнюю, далеко не основную проблему “увечковечения памяти великого критика”. Но, поскольку при этом никак не обойти ту драматическую идеологическую борьбу, которую в значительной степени определил именно критик, не просто поссорившись с Н. Гоголем, но отвергая народную веру как якобы признак обскурантизма и невежества; как не обойти и раскол общества, начавшийся с той поры, то выдвигается другая идея — “примирить” В. Белинского с Н. Гоголем, достичь “объединения” их идей, словно это возможно. Именно так ставит вопрос тот же автор Ирина Монахова в статье “Старые рецепты для нерешённых проблем”, опубликованной в “Нашем современнике” (№ 9, 2009).

Логика тут такова. В. Белинский и Н. Гоголь писали, по сути, об одном и том же — “об эволюционном развитии общества, правда, руководствовались при этом разными побудительными мотивами”. “Не был Гоголь реакционером”, “не был Белинский революционером”. А кто с этим надуманным положением не согласен, тому надлежит освободиться наконец-то от “примитивных ярлыков”. Ну а то, что было между В. Белинским и Н. Гоголем — это сущее недоразумение, только и ставшее возможным лишь потому, что критик вскоре умер. И только поэтому они не успели подружиться. А проживи В. Белинский более, “он, возможно, изменил бы в какой-то степени свои взгляды, как это было и раньше”. Как видим, реальное соотношение идей, не имеющее, как я уже сказал, значения лишь исторического, подменяется гипотетическим — “возможно”, что всерьёз воспринято быть не может.

Да и не соответствует это действительности. Мы никогда не считали Н. Гоголя “реакционером”. Но ведь “проповедником кнута, апостолом невежества, поборником обскурантизма и мракобесия” обозвал писателя В. Бе-

линский, сам себя вполне определённо причисляя к “передовому” революционно-демократическому направлению мысли. Так что далеко не об одном и том же они писали. И стоит лишь удивляться столь бесцеремонному искажению фактов.

Как должны “соединиться” *революционный* и *традиционный* тип сознания – мы этого не знаем, так как примеров подобных в истории мысли не было. Мы только знаем, что революционный тип сознания, как более упрощённый, был и остаётся более воинственным и даже агрессивным. Видимо, можно и нужно говорить о мирном их соседстве, что возможно в действительно цивилизованном обществе. Детский призыв “давайте жить дружно” – тут явно не подходит.

И поскольку такая “примиренческая” апологетика Ирины Монаховой не выходит из воззрений ни В. Белинского, ни Н. Гоголя и никак не соотносится с нынешней идеологической ситуацией в обществе, являющейся прямым продолжением этого давнего столкновения идей, приведём её по возможности полно: “Но как бы то ни было, наше дело – современных читателей Гоголя и Белинского – не столько сосредотачивать внимание на их противоречиях, сколько извлечь пользу для себя из их произведений – из того, что в них есть непреходящего. Исторически оставшиеся навсегда в споре, они во внимании и в понимании читателей должны достичь объединения своих идей. Читатель же, привыкшему воспринимать “Выбранные места из переписки с друзьями” Гоголя и зальцбруннское письмо Белинского как свидетельства об их непримиримых противоречиях и быть неким сторонним наблюдателем этой полемики, оценивающим, кто прав, а кто виноват, кто победил, а кто проиграл – полезно, помимо этой роли судии, раздающего оценки, побывать и в роли ученика. Отодвинув на второй план эмоциональную сторону, сосредоточиться на содержательной и постараться не столько оценивать или сочувствовать, сколько поучиться. Усвоить рациональное зерно, содержащееся и в том, и в другом произведении”.

Понятно и в общем-то благородно намерение автора этого не вполне логического умозаключения: да надоело уже все эти бесконечные революции с их неизбежными и трагическими последствиями. А потому надо хоть как-то, наконец, “примирить” эти столь разные, прямо противоположные воззрения на духовную природу человека и устройство человеческого общества. Но действительного примирения таким вот *соединительным* путём не бывает. Доказательством того, что примирения не получается, является тот факт, что революция в России снова всё-таки произошла как прямое следствие преобладания в обществе *революционного*, а не *традиционного* сознания.

Проявилось это и в нелогичности суждений Ирины Монаховой. Непримиримые противоречия, как исторический факт, признаются, но от них надо “отвыкать”, обратившись к *содержательной* стороне дела. Неужто к этой стороне дела, начиная с современников В. Белинского, никто не обращался? Обращались и непременно объявлялись “консерваторами” а то и “реакционерами” со всеми выходящими из таких определений и обвинений последствиями. Мы-то как раз теперь и пытаемся выделить не декларативную, а содержательную, метафизическую основу в писаниях оппонентов.

Кроме того, предлагаемое “примирение” предполагает “соединение” не каких-то там идей, которые вроде бы ничем друг от друга и не отличаются, но имеет, пожалуй, главную особенность: предлагается “примирить” открытый атеизм письма В. Белинского и православно-проповедническую книгу Н. Гоголя “Выбранные места из переписки с друзьями”. Как воссоединить христианское миропонимание с атеизмом, мы тоже не знаем, так как подобных примеров в истории не встречали. Но коль такая в принципе неисполнимая задача выдвигается, то обнажается её причина и цель. Оставить первенство опять-таки за атеистическим воззрением как якобы более “прогрессивным” и “передовым”, его и только его признавая “непреходящей” ценностью. То есть вернуться к догматическому представлению о критике, которое только-только начало преодолевать с такими трудами. Вот и вся непреходящая “польза” и “рациональное зерно”. Почему такая позиция считается патриотической, об этом можно только догадываться.

Такое отклонение от духовно-мировоззренческой проблематики как середины XIX века, так и нашего времени, тем более построенное на неточном изложении фактов, ни к какому действительному примирению привести не мо-

жет. Уже хотя бы потому, что столь продолжительное господство лишь революционного сознания в ущерб традиционному на долгие времена нарушило в обществе и народе социокультурное равновесие. И уж, коль наше общественное сознание оказалось исторически, что называется, “о двух головах”, есть единственный способ примирения, — это их мирное соседство, во всяком случае не агрессивное, подтверждённое практикой XIX века и послевоенного советского периода истории — их диалог, их полемика, из которых-то и высекалась бы интеллектуальная энергия, необходимая для жизни общества.

Только равновесие разных направлений мысли может создать устойчивую ситуацию в обществе и привести к действительному примирению, а не тотальное господство лишь одного из них, какого бы то ни было. Так же, как и в нашем нынешнем обществе — если и далее будет поддерживаться лишь либеральное направление мысли, как якобы безусловно передовое, зачастую негласно, а всякое обращение к народной традиции объявляться “консервативностью”, ничего хорошего нас не ждёт. Причём это происходит в то время, когда либерализм переживает кризис во всём мире.

Ведь либеральное направление мысли потому и обращается к привлекательным декларациям свободы личности и прав человека, что на сущностном, метафизическом уровне их в себе не содержит. Ему обязательно нужен “оппонент”. Только при наличии его оно полнокровно живёт. Справедливо писал замечательный философ, наш современник А. С. Панарин: “Либерализм всегда выдавал себя за идеологию Человека, отстаивающую его достоинство, право и свободы. Однако, если присмотреться поближе к установкам современного неолиберализма, мы увидим, что как раз в человеке он менее всего нуждается”.

С точки зрения духовно-мировоззренческого и интеллектуального состояния нашего общества о многом говорит это, задним числом предлагаемое “примирение”. Оно свидетельствует не только об инфантилизме тех, кто его предлагает, но о каком-то трагическом неразличении ни сути той идейной борьбы, которая велась в середине XIX века, ни трагического XX века, в котором эта же борьба, в иных формах, продолжилась, ни происходящего теперь. А всё это вызвано отрицанием духовной природы человека и оставлением за ним лишь природы социальной.

“Примирить” В. Белинского и Н. Гоголя мы теперь, при всём желании, не можем. По той простой причине, что они расстались на все времена в том состоянии и положении, в каком расстались. И если мы их теперь “примиряем”, то совершаем насилие над историей, по сути, искажаем происходившее и его последствия.

Речь-то шла ведь вовсе не о социальных “реформах”, как долгое время выставляли этот спор. При этом очень легко разделить людей на “прогрессистов” и “консерваторов”. Между тем как спор шёл о духовной природе человека. О вере, о Божеском или человеческом устройении мира: “Главный пункт, на который нападал Белинский и который является центральным в книге, — был вопрос о религиозном будущем народа” (Владимир Воропаев).

Трагизм положения сторонников социальности в литературе и революционно-демократических убеждений в том и состоял, что, искренне декларируя заботу о благе народном и о человеке, они, по сути, отрицали человека во всей его сложности и многообразии. Разумеется, во имя целей “высших”, то есть идеологических.

Спор между В. Белинским и Н. Гоголем не является просто давней страницей литературы и общественной жизни, он, в иных формах, продолжается. А потому и может быть понят лишь во временном развитии мысли, вплоть до нашего времени. А стало быть, выдвигая такое “примирение”, мы уступаем в пользу лишь одного направления мысли — революционно-демократического, всё так же почитая его более “передовым” и “прогрессивным”, несмотря ни на какие жизненные положения, им вызванные. Раскол ведь общества после новой очередной “демократической” революции сохраняется. Раскол всё тот же, лишь прикрытый новой терминологией. В таких условиях, как ни в чём не бывало, говорить о “примирении” — это и вовсе какая-то мировоззренческая прострация и писательская безответственность.

Кроме того, внешне “гуманистическая” идея “примирения” просто очерчивает тот долгий и трудный путь осмысления происходящего в России, в литературе и общественной мысли, со спора В. Белинского с Н. Гоголем

вплоть до нашего времени. Помимо того, коль В. Белинский с его революционно-демократическими воззрениями тотально господствовал за счёт других направлений мысли и действительной литературной критики, не допускаемых в общественное сознание во весь советский период истории, такое “примирение” исключает преодоление догматики советского периода. Более того — сохраняет её...

Спор-то ведь шёл и идёт не о неких равноправных направлениях мысли. Если отбросить всю публицистическую эквилибристику, рассчитанную на привлечение внимания публики, — между русской культурной традицией, народным самосознанием, нашей умственной и нравственной самостоятельностью и между отвлечённой идеологией, которая якобы должна привести народ и общество к благу, но упорно не приводящая к нему и оборачивающаяся новыми революционными разорениями общества.

Наконец-то после всех драматических событий XX века, да и нашего времени общественная литературная и философская мысль только-только подошла к уяснению метафизической основы этого спора и вдруг, — “примирение”, то есть интеллектуальная капитуляция пред всей сложностью проблем.

Никто ведь теперь не предлагает, повторюсь, низвергать В. Белинского и его последователей. (Это они со всей беспощадностью и неистовостью продавливали со своими “противниками”, нисколько не сомневаясь в своей правоте.) Речь идёт о том, что должна быть, наконец, представлена честная и объективная картина той идеологической борьбы, в которую оказалась втянута литература. И картина, кстати — именно *литературной критики*, а не *окололитературной публицистики*.

Искренность сама по себе сторонников социальной критики, декларации о желании добра народу, о “пользе” литературы, игнорируя саму литературу, а значит — дух человеческий, не могут быть достаточным аргументом. Нам не обойти неотступных вопросов: какие именно идеи навязывались и к чему они неизбежно приводили и могли ли вообще привести к справедливости и благу? Это ведь вопросы, имеющие самое прямое отношение не только к истории литературы, но и к нынешнему общественному сознанию.

В конце концов, дело ведь не в В. Белинском и не в Н. Гоголе, а в том, какой тип сознания утверждался в те времена — *революционный* или *традиционный*. . . Нам могут возразить: но почему в таком случае эти революционно-демократические воззрения “владели умами” не в пример другим направлениям мысли, выходящим из традиционной народной культуры и народного самосознания? Ну, прежде всего, “владели умами” не народа, а лишь “передовой общественности”, ответственной, кстати, за духовно-мировоззренческое окормление народа, а не только за “просвещение” его, сводящееся к навязыванию ему всё тех же революционных идей.

К тому же, видимо, таково было состояние общества, уровень его развития, когда такие идеи виделись передовыми, а потому и готового к этому мировоззренческому соблазну. И должно было пройти время и произойти трагедии для вразумления людей в том, что такие идеи сами по себе ни к какой свободе и справедливости не приводят. Скорее наоборот — лишь создают новые несправедливости. Кроме того, такова психологическая особенность всякого общества, что упрощённое и примитивное укрепляется в нём легче, чем действительно духовное и драгоценное, для чего необходима работа души. Ведь воспитание человека — дело долгое и трудное, манипуляция же его сознанием — куда как более простое. Хотя неприглядное, лукавое и постыдное. . .

Теперь мы должны признать, что общая картина литературной критики и общественной мысли непростительно искажена и остаётся таковой до сих пор. Нам скажут в ответ на это очевидное положение, что история-де не знает сослагательных наклонений, а потому, мол, какой смысл теперь говорить об этом, когда и критики-то теперь у нас нет и литературное дело в России, по сути, остановлено. Нет, не так. Совершившиеся и всё ещё совершающиеся подмены столь очевидны, что мы имеем право теперь на такое утверждение. Духовно-мировоззренческую жизнь человека, общества и народа ни в коей мере нельзя уподоблять любой иной — утилитарной, прагматической и т. д., — так как тем самым отрицается духовная природа человека, нарушается иерархия ценностей, создаются прямые предпосылки для социальной нестабильности общества и всякого рода тоталитарных систем. Ведь всё это “просвещение” со стороны революционных демократов было направлено во-

все не на то, чтобы подвигнуть народ к самоосознанию и самопознанию, а на то, чтобы навязать ему отвлечённые идеи и убеждения. И вся их критика, а то и уничижение народа основывались на том, что он не особенно хотел принимать эти идеи взамен своей природной веры и культуры, не хотел разделять “передовые” убеждения “лучших” людей, явочным порядком объявивших самих себя “лучшими”...

Это было уже вполне ясно многим современникам В. Белинского, как и то, что именно он запускает в общественное сознание такое “направление” мысли, которое чревато многими бедами для народа, хотя и обещало ему благо и освобождение.

В этом отношении примечателен диалог персонажей романа “Бесы” Ф. Достоевского: “Это они-то не любили народа! – завопил Степан Трофимович. – О, как они любили Россию!

– Ни России, ни народа! – завопил и Шатов, сверкая глазами. – Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили: все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно... Вы мало того, что просмотрели народ, – вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков.

И это голая правда! “А у кого нет народа, у того нет и Бога!” Знайте наверное, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же по мере того теряют и веру отеческую, становятся или атеистами или равнодушными” (собр. соч. в 30 т., т. 10, “Наука”, Л., 1974).

Как видно по всему, это было и убеждение самого писателя, которое он формулирует в связи с нечаевщиной предельно ясно: “Эти явления – прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о современной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности... А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если бы им сказали, что они прямые отцы Нечаева” (“Бесы”. Вступительная статья Б. Н. Тарасова. М., “Современник”, 1993).

Как видим, Ф. Достоевский с поразительным пророчеством постиг явление в общественной жизни при самом его зарождении. Кроме того, он указал на мировоззренческие и идеологические истоки и причины его. Примечательна в связи с этим оговорка о В. Белинском. Из неё ведь следует, что наши пропагандисты “передовых” идей просто не могли предусмотреть, чем эти идеи могут обернуться в действительности. Но в таком случае, что значат благородные намерения и красивые декларации... Между тем первейшим признаком истинной талантливости человека является его способность прерывать ход событий.

Можно проследить и то, откуда завелась в нашем обществе той поры эта *идейность*, и почему она получила столь широкое распространение. Идею, которая, сохраняя благородную риторику о благе народном, в конечном счёте подавляла все духовное, народное и национальное, видя в нём препятствие на пути к “прогрессу”. Конечно, этому способствовали многие причины социального, экономического, геополитического порядка, под натиском которых далеко не каждая душа могла устоять. И всё же, как теперь видится, главной причиной появления людей “идейных” было то особое цивилизационное состояние общества, уровень развития его и личности, изрядно приправленные мировоззренческой экспансией извне. Можно сказать, что это был *великий соблазн сложнейшие вопросы бытия общества и личности разрешить наипростейшим путём, внешне таким вроде бы логическим и достижимым*. Это особое состояние общества и личности можно определить как отступление от евангельской мудрости: “Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими” (Евангелие от Матфея, 7, 13).

Ведь казалось таким убедительным и простым проскочить этими широкими вратами, то есть разрешить все проблемы, терзающие человека в его

краткой земной жизни, путём наиболее рациональным и оптимальным, так сказать, напрямую, не вдаваясь во всю сложность человеческого существа. Но оказалось, что этот путь не только не является наикратчайшим, но наиболее долгим, тернистым и трагическим... Ведь отсюда проистекает весь тот комплекс поразительной догматики революционно-демократического толка, которая остаётся или преднамеренно сохраняется во всей своей неизменности вплоть до сегодняшнего дня. С этой точки зрения, кто был тогда “прогрессистом”, а кто “консерватором”, так же как и сегодня, остаётся с позиций метафизических всё ещё не объяснённым, а пребывает на каком-то легком и безответственном публицистическом уровне... К сожалению, конечно. Именно здесь таится основная проблематика, всё ещё терзающая наше общество. Дело вовсе не в “реформах” – в их сторонниках и противниках, а в том образе мира, который принимали и принимают люди в своё сознание и души...

Не столь уж часто, но литераторы и учёные всё-таки обращаются к этой странной борьбе в литературе по сути против литературы, начатой со ссоры В. Белинского и Н. Гоголя. И. Кондаков в довольно примечательной статье “Покушение на литературу (о борьбе литературной критики с литературой в русской культуре)” писал: “Если окинуть взором историю отечественной культуры за последние три века, бросается в глаза странная особенность национального культурно-исторического развития: на первый план общественных и культурных интересов в России постоянно выходит борьба между литературной критикой и литературой, – борьба неуёмная, подчас ожесточённая, даже непримиримая, – за влияние на умы и настроения читающей публики, за приоритет в постановке животрепещущих проблем и их разрешении для блага общества, за гегемонию в культуре и общественной жизни. Понять и объяснить её как борьбу за власть в культуре и обществе – естественнее всего; но остаются вопросы, чем была вызвана потребность и необходимость именно такой борьбы, насколько она определяла собой пути развития и своеобразия русской культуры, в чём состоит её неизменность и продуктивность как феномена культуры” (“Вопросы литературы”, Выпуск II, 1992).

Это была не “борьба между литературной критикой и литературой”, а нечто иное. Это, действительно, имевшая место быть борьба свидетельствовала о другом – о том, что русская литература всегда вовлекалась в идейную, идеологическую и даже политическую борьбу, использовалась как средство в ней вплоть до уничтожения её самой.

Вела же эту борьбу не собственно литературная критика, хотя таковой и называлась, но околολитературная публицистика, беллетристика. Это очень существенное уточнение, иначе мы игнорируем факт существования действительной литературной критики той поры. А такая критика, помимо публицистического буйства революционных демократов, была. Её называли то “эстетической”, то “исторической”, то “органической”, пытаясь предать её лишь одним из “направлений” критики, и, конечно же “ниже” критики революционных демократов, которым казалось, что все эти направления недостаточно касаются самой действительности, не в пример им самим...

Помимо литературной публицистики, ведущей борьбу с литературой, была и собственно критика, отстаивающая литературу. Справедливо писал И. Кондаков: “Но и в самой русской критике проявлялись тенденции, по отношению к литературе и искусству не наступательно-агрессивные, не командующие и руководящие, а, скорее, **защитительные, спасительные**. Таким был юный Валериан Майков, смело восставший против “диктаторства” позднего Белинского; таков был и гениальный Аполлон Григорьев, пронзительно разглядевший уже у Белинского, а затем и у его радикальных последователей “фанатизм отрицания”, теоретический “деспотизм”, готовый идти до террора, да и прямо “литературный терроризм”.

Я понимаю, сколь “крамольные” вещи о великом критике я высказываю. Но теперь-то, когда его революционные идеи с такой пророческой глубиной постигнуты Ф. Достоевским, когда мы увидели страшные последствия этих идей в революционном XX веке, стоивших миллионов человеческих жизней, когда, наконец, в наше время все-таки произошла очередная революция, теперь-то эти идеи мы не имеем права выставлять как некие *гуманистические*, имеющие *непреодоляющее* значение. Что уж теперь-то восхищаться борьбой

критика, “не страшившегося революционного пути к свободе и счастью народа”, по сути, апологетикой людоедства. Ведь идеи “гуманистического содержания”, не приводящие, к чаемым свободе и счастью народа, могут свидетельствовать разве что о недостаточной прозорливости их исповедника.

Но на этом пропагандистском пути шло в ход всё, даже явное искажение фактов. Ну ладно — “гуманистические” идеи, под которыми можно разуть все что угодно, но усмотреть отстаивание “народности творчества” именно в скандальном, насквозь атеистическом письме В. Белинского к Н. Гоголю — это уж слишком, ибо где пребывает богоборчество и атеизм, там нет *народности*. Но именно так утверждалось во вступительной статье к девятитомному собранию сочинений В. Белинского: “Письмо к Гоголю — итог, яркая вспышка в конце напряжённой жизни, полной страстного поиска, борьбы за русскую литературу, за реализм и народность творчества, веры в свой народ и свою родину” (Н. Гей. М., “Художественная литература”, 1976, т. 1).

Если следовать предлагаемой логике нового “увековечения” критика, а по сути, реанимации его революционно-демократических идей, логике какого-то немислимого соединения этих идей с народным самосознанием, — то мы должны согласиться с тем, что после неистового Виссариона вроде бы ничего особенного и не происходило. Не было его единоличного господства в советский период истории вкупе с его последователями — Н. Чернышевским, А. Добролюбовым, Д. Писаревым. Слово и не было столь долгого периода, когда талантливый критик, человек глубоко православный, Аполлон Григорьев просто не издавался. Хотя есть все основания считать его реальной альтернативой в русской критике неистовому Виссариону.

Образованнейший человек своего времени Н. Страхов считал, что истинным создателем русской критики был Аполлон Григорьев: “Именно Григорьева Страхов считал создателем русской критики, а принцип “органической критики”, разработанный Ап. Григорьевым, — основным принципом критического рассмотрения” (Н. Скотов в кн.: Н. Н. Страхов “Литературная критика”. М., “Современник”, 1984).

Да и не только Ап. Григорьев не издавался. К примеру, преемник В. Белинского по журналу “Отечественные записки”, талантливый критик Валериан Майков, рано ушедший из жизни, был издан только в наше время, да и то представлен не лучшими его литературно-критическими статьями (Л., “Художественная литература”, 1985). А его двухтомное собрание сочинений, насколько нам известно, так до сих пор и остаётся не переизданным (Киев, 1901). Не потому ли так произошло, что В. Майков не исповедовал революционно-демократических воззрений, раскалывающих общество на два непримиримых, воинственных лагеря или, как тогда говорили, — направления. Наоборот, молодой критик писал о стремлении “новейших учёных создать философию общества”, то есть науку, рассматривающую все социальные вопросы в их взаимном отношении. Между тем, Валериан Майков более точно, чем В. Белинский, оценил А. Кольцова, Н. Гоголя, А. Герцена, И. Гончарова, разгадал творческий путь Ф. Достоевского, открыл Ф. Тютчева за три года до известной статьи Н. Некрасова о второстепенных поэтах... “Трибуном”, правда, он не был, хотя и был ведущим критиком журнала. Стоит лишь сожалеть, что деятельность его продолжалась недолго, так как в результате несчастного случая он утонул в двадцатичетырёхлетнем возрасте.

И мы теперь, печалься над страницами русской литературы, должны высказать наблюдение, которое, может быть, и не имеет значения некоей закономерности или символа, но всё же примечательно. Если великих русских поэтов стреляли на дуэлях в результате злокозненных интриг — А. Пушкин, М. Лермонтов... и не содрогнулось ветреное племя при такой гибели своих гениев — то критики почему-то часто тонули, причём в юном возрасте — В. Майков, Д. Писарев. Может быть, это — всего лишь несчастное стечение обстоятельств. Но как о нём не думать...

2

Считать заслугой В. Белинского то, что он ввёл в литературу мир идей, нет оснований, так как идеи явились орудием раскола общества на два непримиримых лагеря и орудием борьбы с литературой. Положительным фактом литературной жизни считать это невозможно. Во всяком случае, вначале

не худо бы рассмотреть то, действительно ли это были прогрессивные идеи и к каким жизненным положениям они неизбежно привели. Введение в литературную жизнь мира идей можно считать не заслугой В. Белинского, а его невольным грехом, так как в предельной искренности его сомневаться не приходится. Разумеется, мы делаем лишь попытку постановки вопроса в его самых общих чертах, не вдаваясь особо в подробности, в которых можно легко утонуть, так и не выявив проблематики. Ведь вопрос о соотношении литературы и литературной критики в русской культуре в силу целого ряда обстоятельств так и остался исторически и методологически верно не поставленным.

При этом основным критерием в оценке тех или иных явлений литературы мы берём не верность их “действительности”, так как литературное и жизненное и не должно быть абсолютно идентичным. Не “разрешение” каких-то социальных вопросов, которых литература по самой природе своей не разрешает, ибо у неё иные задачи. Не “польза” её для общества, которую абсолютно ничем невозможным поверить. Не декларации о добрых намерениях и степень искренности, так как и заблуждаться можно вполне искренне. Основным критерием и мерилom для нас является тип мышления, тип сознания автора — традиционный, в согласии с народным самосознанием и верой народа или же революционный, верный тем или иным идеям, как правило, отвлечённым. Ведь, собственно, по этому признаку миропонимания люди и различаются, в согласии с евангельской мудростью — “тесными” или же “широкими” вратами они входят.

Какие всё-таки они упрощённые, эти идейные люди, вознамерившиеся с помощью идей, как отмычек, минуя всю сложность человеческой природы, устроить человеку благоденствие на земле. Но из их благородных и искренних намерений неизбежно выходит нечто прямо противоположное...

Но теперь-то, когда идеи, навязываемые столь неистово, получили своё полное развитие и обернулись совсем не тем, что от них ожидалось, а прямо противоположным — трагедиями, можно спокойно рассмотреть их метафизическую основу? Оказывается, нет. Мыслительная ситуация в критике и публицистике остаётся прежней, несмотря ни на какие социальные потрясения, когда уже под вопросом оказалось само наше народное и государственное бытие. Ну, разве слегка изменённая, но в своей понятийной основе прежняя...

Такова природа “либеральной” мысли, что, борясь с “тоталитаризмом” вроде бы за освобождение личности, но при этом не беря в расчёт духовную природу человека, она неизбежно уготовляет новый “тоталитаризм”, а то и тиранию. Это замечено русскими писателями давно: “Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничный деспотизм” (Ф. Достоевский). А потому всякий “трибун” должен нами оцениваться не по привлекательности и красивости его деклараций о борьбе за чаяния народа и за Россию, но по самому характеру выдвигаемых им идей — способны ли они вообще привести к таким благородным обещаниям. Ну и — по результатам воплощения этих идей, чему мы уже были свидетелями.

Ну а как же прогресс? Почему этот пресловутый прогресс, на борьбу за который затрачено столько сил, сломано столько человеческих судеб, загублено столько человеческих жизней, на который возлагались такие надежды, оказался столь непрочным и таким уязвимым? Почему с его, вроде бы, незыблемых высот общество так легко скатывается во мрак невежества и в нищету? В общем-то понятно, что общество, устроенное лишь на принципах внешних, социальных, без внутренней духовной и культурной крепости, отрицающее саму духовную природу человека, — непрочное и обречено. При этом, как понятно, я имею в виду вовсе не только церковную сторону жизни.

Наконец, мы должны признать, что прогресс научно-технический, социальный и всякий иной к литературе неприложим, так как в ней последующее не отрицает предшествующего, а существует в полном составе вершинных творений духа. А потому, скажем, из “Слова о полку Игореве” мы можем узнать не о прошлой, а о нашей жизни гораздо больше, чем из какого-нибудь ультрасовременного писания, поднимающего “животрепещущие вопросы”...

Цивилизация отнюдь не отменяет духовной природы человека, не делает человека своим рабом и заложником. А если так происходит, то это вовсе не цивилизация, а нечто совсем другое. Это — или хитроумные ухищрения манипуляции общественным сознанием, или же “род нервной болезни”, как скажет И. Бунин.

Об этом следует всё настойчивее говорить, так как человеческая мысль наконец-то подошла к осознанию понятия “прогресса”, убедившись в том, что блага, приносимые им, не перевешивают тех потерь, которыми он оборачивается для духовного, интеллектуального и физического здоровья человека.

В литературоведении довольно распространено убеждение, не подлежащее сомнению, в конечном счёте, оправдывающее всякую “социальность”, революционно-демократическую риторику, подмену литературной критики публицистикой. Это мнение о том, что в силу целого ряда обстоятельств русская классическая литература, в отличие от других литератур, взяла на себя роль и философии, и социологии, и идеологии, и политики. Объясняется это обычно неразвитостью в русском народе других форм общественного сознания. А потому, мол, литературе и пришлось “решать” эти “вопросы”. На самом же деле “вопросы” практической жизни безуспешно “решала” не литература, а окололитературная беллетристика, которая не была ни философией, ни социологией, но – идеологией. Таким образом, её внелитературные и внекультурные устремления переносятся на всю русскую литературу, как на её особенность.

Между тем, в России была оригинальная национальная философия, к концу XIX века сформировавшаяся в не подлежащее сомнению явление. Но достойным общества в полной мере она не стала, так как настойчиво вытеснялась более “передовыми” революционно-демократическими воззрениями, отвечающими политической задаче “освободительного движения”. Воззрениями чисто утилитарными, в конечном итоге уничтожавшими и философию, и литературу... С другой стороны, русская национальная философия оказалась подменённой *религиозной философией*, особенно ставшей популярной в период нашей “демократической” революции.

Примечательно в этом отношении мнение, пожалуй, общепризнанное, о “начале” русской философии, когда её родоначальником объявлялся без всяких на то оснований П. Чаадаев с его эпатажными, уничижительными для России “философскими” письмами. Но его писания *по самому своему жанру* не были философией, но – публицистикой или, как говорили ранее, беллетристикой. Неужто они объявлены первой страницей русской философии лишь потому, что сам автор назвал их “философскими”? Не хочется в это верить, ибо подмена понятий здесь очевидна.

Известно, как А. Пушкин относился к этим эпатажным писаниям П. Чаадаева, от которых тот позже и сам отказывался. Его представления о судьбе России и её положении в мире были прямо противоположны чаадаевским. Уже только этот факт свидетельствует о том, была ли русская литература изначально носителем и философской мысли или нет. Или же – “философия” делалась отдельно от литературы, ценой искажения и подавления её...

Не является ли это утверждение о том, что русская классическая литература выполняла роль и философии, и социологии, и политики, неким неявным оправданием лишь утилитарного её значения и низведением её с тех духовных высот, до которых она поднималась?..

В том, что А. Пушкин не отослал письма П. Чаадаеву, как и позже Н. Гоголь не отослал своего письма В. Белинскому, видится некая закономерность. Во всяком случае, это не является случайным. Видимо, художники убедились в том, что переубедить в чём-то этих идейных людей, считавших себя носителями некоей высшей универсальной мысли, более значимой, чем литература, невозможно...

Никаких “животрепещущих” проблем, “вопросов” “действительности” литература никогда не разрешала по самой своей природе. В лучшем случае она их только ставила. “Разрешала” вопросы без всякого успеха литературная публицистика, перенося это свое безнадёжное дело и на всю литературу. Но, сводя литературу к утилитаризму, идеологи от литературы совершали подмену, так как игнорировали метафизическую основу общественного сознания. Ведь мировоззренческое может сравниться только с мировоззренческим же, но никак не с “действительностью”. В этой постановке литературной публицистики на службу “освободительного движения” была изрядная доля спекулятивного подхода. Искренного, может быть, не вполне осознаваемого, но всё-таки спекулятивного.

Если в “Грозе” А. Островского увидено только “тёмное царство” в социальном, а не в духовном значении, следующий логический шаг обозвать всю

русскую жизнь “тюрьмой народов”. А что церемониться с народом и страной, не желаящими разделять, безусловно “передовые” идеи. Такова логика революционного сознания. Она прерывает преемственность жизни, дабы выставить предшествующий период истории ужасным и получить хоть какую-то санкцию на свои произвольные действия по переделке мира. . .

Представители же революционно-демократической “реальной критики” под вроде бы благородным лозунгом близости к жизни и действительности, хотя они сами были от неё бесконечно далеки, ибо руководствовались исключительно отвлечёнными идеями, на самом деле нарушали ту иерархию ценностей, без которой общество существовать не может. Вот основной грех, который они вольно или невольно совершали.

Для них был абсолютно непостижимым тот очевидный факт, что сопоставлять и тем более уподоблять искусство и действительность означает или впасть в натурализм, или же вообще исключать искусство из общественного сознания, что “несоответствие” искусства и действительности есть неизбежная данность, нарушать которую безнаказанно нельзя, что это есть “великий вопрос”, о котором позже писал А. Блок: “Великий вопрос о противоречии искусства и жизни существует искони”. И ещё более определённо поэт писал об этом же в статье “Искусство и газета” в 1912 году: “Не надо говорить много, надо говорить *важно*. Язык художественного отдела ничем не должен походить на язык телеграмм и хроник. Об искусстве должны бы говорить люди, качественно отличающиеся от людей, говорящих о политике, о злотах дня”.

Ярко выраженный же *историзм* русской классической литературы вовсе не значит, что она сводится к истории. А значит, и не даёт никаких оснований рассматривать себя с точки зрения пресловутого “прогресса” — от простого к сложному, от несовершенного к более совершенному. Так же как и *реализм* её вовсе не значит, что она сводится к натурализму. Но взятые, как основные критерии в устах социальных и позитивистских критиков, они неизбежно низводят русскую литературу с её духовных высот к утилитаризму — к соответствию её “действительности” или тем или иным идеям. Вольно или невольно, но в таком случае литература рассматривается в лучшем случае лишь как иллюстрация к истории.

Аполлон Григорьев с его действительно русской, православной душой, отстаиванием подлинной, а не бутафорской народности в искусстве стал как бы в большей мере достоянием “либеральной” мысли. Но из всех несомненных достоинств его критики, цельного взгляда на искусство и жизнь они выделяют в основном лишь его гонимость, “ненужность”, осознаваемую им самим, то одиночество, на которое он пошёл сознательно, отстаивая право искусства на своё существование, не впадая в социальные, идеологические соблазны своего времени.

Похоже, что теперь литературоведы, писатели, те из них, кто в это нелитературное время ещё способен думать о судьбах русской литературы, народа и страны, не вполне отдают себе отчёт в том, как теперь со всем этим наследием быть. При этом по какой-то устойчивой закономерности их в большей мере заботит судьба лишь революционно-демократической мысли, а не вся полнота общественной мысли и не собственно литературная критика.

Трагическая судьба Аполлона Григорьева и его наследия их меньше волнует, чем судьба наследия революционных демократов — позднего В. Белинского, Н. Чернышевского, А. Добролюбова, Д. Писарева, которое-то в своей значительной части и перечитывать уже невозможно. А уж как его воспримут новые поколения читателей, до этого, кажется, им и вовсе нет дела.

Видя очевидное противопоставление и даже конфликтное столкновение русской литературы и литературной публицистики, наиболее пронизательные литераторы и филологи во второй половине XX века периодически обращались к этому странному явлению, пытаясь его объяснить и обозначить его истоки. Характерным и примечательным в этом отношении является уже упомянутое исследование И. Кондакова “Покушение на литературу (О борьбе литературной критики с литературой в русской культуре)”, опубликованное в журнале “Вопросы литературы” (Выпуск II, 1992): “Расширив круг русских критиков, мы обнаружим посягательства на всех без исключения классиков русской литературы, причём претендующие не просто на “хирургическое” вмешательство в их художественный мир и творческую лабораторию, но подчас прямо-таки на их низвержение и уничтожение!”

Считать такое положение некоей исторической предопределённостью и неизбежностью, зная, какими методами велась эта внелитературная борьба и каковы её последствия, никак невозможно. И уж тем более нет оснований полагать, что идеологическая агрессивность революционно-демократической публицистики явилась безусловно положительной для развития русской литературы. Если в какой-то мере она и явилась таковой, то лишь в той степени, в какой всякое препятствие мобилизует и дисциплинирует здоровые силы общества. Иными словами, не благодаря ей, а несмотря на неё продолжилась русская литературная традиция. Для такого утверждения есть полные основания уже хотя бы потому, что противопоставление *внелитературного* (идеологического и политического) и *литературного* (образного) по самой своей сути неправомерно ни с точки зрения научной, ни с точки зрения литературной.

Ни в коем разе опять-таки не предлагаю теперь “низвергать” В. Белинского, но объяснять его воззрения и его эпоху. Его же “низвергатели”, как бы и сами того не замечая, впадают в ту же самую революционную неистовость, которой болел сам критик. Вот ведь и И. Кондаков в своей статье о борьбе литературной критики с литературой в русской культуре, казалось бы, набрасывая, в общем-то, справедливую картину русской литературы и критики, вместе с тем пишет: “Борьба критики с литературой в советской культуре становилась целенаправленной политикой партии и государства, соединившей черты тотальной контркультуры и государственного терроризма”.

Утверждение явно несправедливое и, что особенно обидно, довольно распространённое, если не повсеместное, в среде образованных людей. Почему же в таком случае “освобождение” от этого “государственного терроризма” привело к положению беспрецедентному – по сути, приостановке писательства в России? Ведь по такой логике должен был наступить расцвет литературы, а не культурное, духовное и нравственное падение общества. Значит, мы неверно определяем ситуацию и в обществе, и в стране, и в культуре.

Советский период истории был ведь долгим и разным. Послевоенное время радикальным образом отличалось от 20-х и 30-х годов, несмотря на официальную идеологию, далёкую от народного самосознания. Сразу же после войны и в последующее время активно издавалась русская классическая литература. Не могло же это быть неким недосмотром власти. Наоборот, это было государственной политикой. Да, критика оставалась делом партийным. Но не она уже определяла состояние культуры, хотя под её знаком и предпринимались довольно грозные демарши – решения, постановления и т. д.

Можно сказать, что русская классическая литература после революционного погрома страны начала миновавшего века спасла нас, вернула к своим исконным ценностям. И если были на этом пути препятствия, то основными, определяющими из них был уже не “государственный терроризм” в культуре (в послевоенный период советской истории), но “терроризм” “общественного мнения”, который, в конце концов, и столкнул общественное сознание в либеральную односторонность, тем самым, по сути, приостановив развитие русской литературы... Да и жизни...

Наконец, в послевоенный период продолжилась русская литературная традиция. Появилась истинно русская литература советского периода истории. Имен выдающихся художников здесь можно назвать множество. М. Шолохов, А. Твардовский, М. Исаковский, М. Булгаков, А. Платонов, В. Шукшин, В. Белов, В. Распутин, Е. Носов, Я. Смеляков, В. Соколов, Н. Рубцов, А. Передреев, Ю. Кузнецов... При “государственном терроризме” в культуре это было бы просто невозможно. И так было до очередной революции в России нашего времени с её новым упразднением литературы... Так где “терроризм” в культуре был – тогда или теперь? Ответ очевиден. Но только не для идеологически озабоченных людей.

Неужто мы до такой степени наивны, что изменение форм духовного и мировоззренческого насилия способно создать у нас иллюзию его отсутствия вообще? Не хочется в это верить.

Я понимаю тех литературоведов и литераторов послевоенного советского периода истории, вплоть до нынешнего времени, которые искренне пытались обосновать преемственность в русской литературе разных эпох, в том числе и в беллетристике. Но в беллетристике, в отличие от собственно литературы, такой “преемственности” и такого “примирения” при всём желании отыскать невозможно. И уж тем более невозможно усмотреть “преемственности” меж-

ду художественным творчеством и беллетристикой, открыто объявившей войну литературе.

А потому, не желая “отдавать” В. Белинского и его последователей кому бы то ни было, почитая революционные идеи безусловно “прогрессивными”, они представляют дело так, что традиция внехудожественного изучения литературы зародилась в двадцатых-тридцатых годах советского периода истории: “Тенденция изучать литературное движение независимо от художественной ценности идёт у нас от формальной школы 20-х – начала 30-х годов”. (П. В. Палиевский). Но это был уже новый этап борьбы против русской классической литературы, свое полное мировоззренческое обоснование получивший ещё в последователях В. Белинского. А потому нельзя не согласиться с фактом очевидным: “Увы! Метод истинной критики зародился задолго до рождения большевистской литературной критики” (И. Кондаков). Ведь уже в писаниях В. Белинского при всей его живости и разносторонности интересов проявился полный набор догматов революционного сознания, получивших “развитие” в его последователях. И прежде всего – в антипушкинском направлении революционно-демократической мысли.

Уже В. Белинский не видел у А. Пушкина “идеала лучшей действительности”. Уже В. Белинский упрекал А. Пушкина в том, что его поэзия не даёт “ответы на вопросы времени”. Великий критик не различил творческого пути А. Пушкина, не понял “Евгения Онегина”, “Капитанской дочки”, “Повестей Белкина”, которые, по его логике, были “ниже своего времени”. Не заметил грандиозности и “Медного всадника”. В отличие от других писателей – Ап. Григорьева, Ф. Достоевского, справедливо полагавшего, что А. Пушкин приходит в самом начале правильного самосознания нашего...

Видимо, такова закономерность, что как только в оценке творений духа берётся критерий внелитературный – апелляция к “действительности”, ссылка на то, что “время такое”, установка на “современность”, соответствие “передовым” идеям, так и начинаются непримиримые конфликты. Хотя соотношение художественного и “действительного” неправомерно, время всегда “такое”, а “современность” можно познать иными формами сознания, насколько не обязательно именно художественными и литературными.

В статье Александра Блока “О назначении поэта” есть удивительное, на первый взгляд парадоксальное, но точное по сути суждение о соотношении и “преемственности” А. Пушкина и В. Белинского: “Над смертным одром Пушкина раздался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это – не так. И если это даже не совсем так, будем всё-таки думать, что это совсем не так”.

То есть в этом суждении поэт ясно сказано, что В. Белинский явился продолжателем дела... графа Бенкендорфа, но не А. Пушкина. Ну, а больно это осознавать потому, что всегда больно расставаться с былыми убеждениями, в том числе и иллюзорными.

По сути А. Блок говорит здесь о том, что утилитарный подход к культуре вообще и к литературе в частности, клянувшийся при этом прогрессом, в конечном счёте становится препятствием прогресса... Но что очень примечательно и характерно, при этом А. Блок вовсе не отрицает В. Белинского, а, наоборот, причисляет его к “вечным образцам нашего неистового прошлого”. “Неистового”, но всё-таки – к “образцам” (“О списке русских авторов”).

Примечательно, что тут же А. Блок замечает ту “эволюцию” идей В. Белинского, которая сказалась в его последователях, сводящаяся к понижению, упрощению и даже оглуплению литературы: “Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку”. Известно письмо А. Пушкина о В. Белинском, выдаваемое за письмо некоего читателя из Твери: “Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединил он более учёности, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности – словом, более зрелости, то мы бы имели в нём критика весьма замечательного”.

Но это ведь, по сути, приговор, и приговор жёсткий и беспощадный...

Истоки и смысл борьбы литературной публицистики с литературой можно вполне понять, только беря в расчёт феномен интеллигенции в России,

по причине исторических обстоятельств поставившей себя в положение борьбы с народом. Не образованной части общества, а именно *интеллигенции*, то есть наиболее идеологически озабоченных людей.

И. А. Гончаров в очерке “Заметки о личности Белинского” писал о том, что приближается время, когда и сам Белинский предстанет пред беспристрастным судом критики. И этот суд, как он полагал, будет “не подкупленный привязанностью к его личности живых друзей-современников и его почитателей” (“Четыре очерка”, СПб, 1881).

Увы, свершилось невероятное, время беспристрастной оценки В. Белинского не приблизилось, всё произошло вопреки логике и совсем не так. Но есть такие вопросы в истории русской критики, зародившиеся с В. Белинского и сохраняющиеся до сих пор, обойти которые никак невозможно. И в частности этот: в силу каких обстоятельств критик оказался столь “канонизирован”? Причём не только в советский период истории. Тут как раз всё понятно — его революционно-демократические воззрения как нельзя лучше пришлись к “революционным ценностям” официальной идеологии. Гораздо интереснее проследить то, почему он “владел умами” целых поколений до этого. В силу каких причин и обстоятельств передовыми и прогрессивными почитались только и исключительно внелитературные революционно-демократические воззрения?

И главное — почему предпринимаются попытки “реабилитации” воззрений В. Белинского теперь, когда, по сути, на тех же идеях произошло новое, очередное революционное разорение нашей жизни? Это, безусловно, свидетельствует или о какой-то интеллектуальной несваримости, или о безответственности людей образованных перед собой и перед обществом. Видимо, столь длительное господство лишь одних “передовых” революционно-демократических идей не прошло для всех нас бесследно...